

Александр Алексеевич Богданов

Федор Шуруп



Александр Алексеевич Богданов Федор Шуруп

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4669752

Аннотация

«С утра ненадолго поморосил мелкими слезками дождь. Но серое небо, сгустившее низко космы туч, не могло разогнать своей хмурию тех радостных настроений, которые охватили город.

Никогда еще до сих пор воздух не казался таким легким, никогда не дышалось так свободно и радостно, как сегодня.

Газетчики торопко перебежали с угла на угол и рассовывали покупателям пачку телеграмм и газет...»

Содержание

I	4
II	10
III	15

**Александр
Алексеевич Богданов
Федор Шуруп
(Этюд)**

I

С утра ненадолго поморосил мелкими слезками дождь. Но серое небо, сгустившее низко космы туч, не могло разогнать своей хмурию тех радостных настроений, которые охватили город.

Никогда еще до сих пор воздух не казался таким легким, никогда не дышалось так свободно и радостно, как сегодня.

Газетчики торопко перебегали с угла на угол и рассовывали покупателям пачку телеграмм и газет.

- События семнадцатого октября!
- Описание вчерашней манифестации!
- Дни свободы в Москве!.. Столичные газеты!
- Революция в стране!..
- Свобода!

Вчера город представлял собой сплошной карнавал, расцвеченный в красное, белое и оранжевое. Приветствия, ре-

чи, цветы...

Знакомые, встречаясь, обнимали друг друга, целовались.

Незнакомые обменивались рукопожатиями, поздравлениями.

Вчера из тюрьмы вынесли на руках большевика Милонова и на Соборной площади устроили митинг.

Говорили, плакали, угрожали, радовались, зажигались энтузиазмом, верили...

С рабочих окраин на площадь пришла толпа с красными знаменами, с пением:

Нам не нужно золотого кумира,
Ненавистен нам царский чертог...

Половина города приняла участие в манифестации. Даже известный всем дурачок Паша, недоросток с лошадиным вытянутым лицом, завсегдатай свадеб, похорон и церковных служб, бежал сбоку вдоль панелей, подковыливая несуразными козлиными ногами, и бормотал:

– Тырлин, пырлин, – мелен луг...

– И ты, дурачок, здесь! – приветствовали его. – Ну, вальяй!..

А потом ни с того ни с сего дурачок бросился на колокольню, распугал голубей и затрезвонил в колокола, пока его не стащил оттуда за шиворот сторож.

Вчерашний поток не стих и сегодня... Расплесками и ру-

чейками он хлынул на улицы.

На углу Московской гражданин в фетровой шляпе и пальто шоколадного цвета разглагольствовал, усердно жестикулируя. В руках у него была тросточка с серебряным набалдашником, и он то поднимал ее, то опускал, как бы в такт красиво округленным фразам.

В кучке слушателей находились гимназисты, рабочие, приказчики, немолодая дама с золотой брошью и две курсистки.

– Следующие пункты... приближают нас к одной из наиболее конституционных и демократических стран – Англии, – скрипел гражданин, – словом, с этого дня начинается, так сказать... э... э... новая эра нашей государственной жизни...

– А гарантия? – крикнул чей-то иронический жесткий досадный голос.

– Гарантия в царском ненарушимом слове, – поднимая выше серебряный набалдашник, ответил господин.

– Гарантия – рабочий класс, – перебил тот же голос.

Все обернулись на говорившего. Это был токарь механического завода Федор Шуруп, приземистый широкоплечий и сильный человек, в байковой коротайке и черном картузе, с сухим, изрытым оспинами лицом и давно небритыми щеками.

В тоне голоса и в мелких двигающихся складках около губ дрожала презрительная усмешка к либералу-оратору.

– Товарищи! Да здравствует борьба рабочего класса! – крикнул Федор, обращаясь к учащимся и мастеровым.

– Да здравствует борьба рабочего класса! – подхватили в кучке.

Федор Шуруп надвинул на лоб картуз и зашагал дальше. Он спешил домой...

Сегодня его только что выпустили из тюрьмы в последней партии политических заключенных. Первая партия была освобождена еще вчера.

Задержка произошла потому, что Федор сидел вместе с крестьянами, привлекался по делу о пропаганде в деревне. В отличие от меньшевиков – все большевики вели пропаганду среди крестьян. Охранка приравнивала аграрников к уголовным и вначале не хотела распространять на них амнистию. Потом, с запозданием на сутки, было освобождено и несколько «политиков»-крестьян, а в ними Федор.

Свернув с главной улицы, Федор прошел мимо городской управы, неуклюжего скучаного здания, отличавшегося, от казарм только тем, что с фасадной стороны оно имело балконы. На верхнем балконе неуютно болталось национальное знамя. Оно имело жалкий, обтрепанный вид. Древка было, прикреплено проволоками наспех и криво, и трехцветное полотнище нелепо охлестывало чугунные, загаженные голубями перила.

«Трусу задали, а фасон держат! – подумал Федор. – Небойсь, по закоулкам где-нибудь выжидают... Га-ды!»

Занятий в управе не было. На дверях, запертых изнутри, висели также и снаружи большие железные замки, какими обычно запирают лабазы. Городской голова Ерофеев, купец первой гильдии, черносотенник, поздравив для приличия служащих, потом особо вел беседу со сторожами, дал десять рублей на чай и строго распорядился:

– Поздравляю вас с царской милостью. Но помните: милость для верноподданных, а не для тех, кто делает смуту да забастовки! В помещение никого не пускать. Слышите, – ни-ни! И ежели произойдут митинги, отвтите, сукины сыны, головой.

Недалеко от садика с повядшими акациями, где находилась ремесленная управа, толпились цеховые и мещане.

Федор прислушался.

Пожилой, остриженный в скобку мастеровой, с рыжими бровями и усами и с бородавкой на щеке, пыхал папироской-самокруткой и философствовал:

– А рты затыкать никому не дозволено. Вот в древности мудрец такой жил, Диогеном звали, в бочке спасался. Так он с самими царями беседовал.

– Скажите, пожалуйста, – Диоген! Откуда ты такие тонкости знаешь?

– Я много кой-чего теперь понимаю... – бурчал, не теряя достоинства, мастеровой. – Подождите, не то еще увидите.

– Димогенова бочка-то винная иль из-под квасу? – дурашливо выкрикнул кто-то и засмеялся.

– Коль мудрец, то, значит, винная. Квас только дураки пьют.

– Больше всех царь пьет. Я об этом оратора слышал: «Царские речи... Триста речей, и каждая в одно слово: пью! пью и пью!»:

– Хо! Ну и царь!

– Царь – другая статья. Ему и водка ума не прибавила!..

Федор на ходу жадно впитывал глазами и слухом все, что говорится и делается кругом.

Город, особенно в тех кварталах, которые примыкали ближе к окраинам, терял свой обычный вид и походил на встревоженный муравейник.

Во дворе пожарного участка табунились оседланные лошади. По опыту прежнего Федор знал, что это значит: отряд казаков находился в боевой готовности. И сердце кольнуло от тревожного предчувствия.

«Да, вот оно... – думал он. – Манифест – чепуха. Главное, надо повести вперед разбуженную массу... Хорошо!»

II

Еще у ворот Федора встретила радостным щебетанием четырехлетняя дочь Ньюша:

– Тятка пришел!.. Тятка!..

Федор взял ее на руки и, сгибаясь, чтоб не стукнуться головой о деревянную обшивку притолоки, осторожно прошел через полутемные сенцы в горницу небольшого флигелька.

Жена Клаша, распарившаяся и красная от работ, закончив послеобеденную уборку, занималась штопкой старой одежды.

Порывисто бросилась к мужу, которого с нетерпением ждала еще вчера, прослышав, что товарищи, сидевшие в тюрьме, возвращаются домой. Отсутствие мужа ее очень встревожило, но подбодряли успокоительные заверения соседей.

Федор опустил с рук дочь и крепко обнял Клашу, припавшую к нему на грудь.

Клаша заплакала. Сдерживаемые страдания за время пребывания мужа в тюрьме, нужда, заботы, страх за участь Федора – все, что за это время глубоко было спрятано и накапливалось глухо где-то в груди, теперь сразу вырвалось наружу... Конвульсивно вздрагивали худые плечи, выступающие из-под ситцевой кофточки.

– Ну, что ты! – утешал ее Федор, целуя в голову. – Надо радоваться, а ты плачешь...

Стало жаль Клашу. Такой маленькой и слабой казалась она, – вся обмякшая от испытанных переживаний и совсем непохожая на ту самостоятельную, независимо-твердую Клашу, которая ни словом, ни даже намеком не обмолвилась перед родными или соседями о том, как ей приходилось тяжело одной с двумя детьми.

Федор понимал ее. Дружески-ласково и подбадривая, он весело сказал:

– Вот видишь, и день сегодня совсем особенный...

Настроение его сразу передалось Клаше. Она отвела полные слез глаза, вытерла слезы рукавом кофты и засмеялась.

– От радости, Федя... Много без тебя переволновалась, особенно вчера... Знаешь, эта свобода... Не особенно я ей... как бы тебе сказать... верю...

– Ну, ведь ты у меня сознательная!.. Не такая, как другие!.. – целуя ее, гордо сказал Федор.

Он разделся и сел за стол... Мельком огляделся кругом. Бросилось в глаза, что в комнате не хватало комода, на котором обычно стоял никелевый самовар.

Не было и самовара. «Продали из-за нужды», мелькнуло в мыслях. Остальное все оставалось по-старому. На деревянной самодельной полке в порядке, стопочками, любовно расставлены книги, которые приобретались на урезанные из скудного заработка гроши.

«Книг не тронула, а самовар продала, – подумал он с удовлетворением. – Молодец, Клаша!»

И спросил с благодарной ласковостью:

– Как вы тут, бедствовали?

– Ничего, перемоглись! Васяня к папироснице бегал, на гильзах подрабатывал. У меня – стирка. За Нюшей соседи присматривали, а иногда с собой на поденщину брала. Ну, товарищи тоже помогали.

Клаша накрыла на стол, поставила тарелки с едой.

– Ты, я чаю, голодный как волк. Мы-то пообедали. Вот здесь пирог... Праздничный, по случаю твоего возвращения, еще вчера постаралась.

– От пирога никогда не отказываюсь, – весело поддакнул Федор.

Нюша, забравшись на колени отца, ласково юлила. Прижалась лицом к его щеке, отдернулась:

– А тятка стал ежиком! Колючий... Ежик!

Тятка ежик.

Тятка ежик!..

– Правильно, Нюша, – засмеялся Федор, – оброс я в тюрьме. Все острое и ножи отбирали, редко приходилось бриться.

Мать сняла Нюшу с отцовских колен. Федор принялся за еду.

В горницу шумно влетел сын Васяня, одиннадцатилетний мальчуган, с голубыми большими глазами, как у матери, запыхавшийся и распаленный.

У него был необычный, смятенный вид. Глаза то вспыхивали, то странно погасали. Встреча с отцом явилась несколько неожиданной, и он остановился у порога.

– А-а, Васяня! – обрадовался Федор. – Здравствуй!

Васяня подошел к отцу. Поцеловались.

Охваченный тем волнующим и сильным, что он принес в себе с улицы и что продолжал глубоко переживать и сейчас, Васяня торопливо заговорил, роняя не по-детски тяжелые, как свинец, слова:

– А я сейчас, тятя, из города. С Шаболихи. Ой, что там делают! Магазины ломают, дома бьют. Аптеку Келлера, часовой магазин Берга. Окна, столы щепают, вот такая куча щепок. Одной женщине голову раскромсали и еще двух убили. Кровь бежит... А казаки орут. Казаки пьяные. Пашку стегали нагайкой, а я убежал.

В молчании слушали Васяню. Стало жутко. С каждым словом нарастало злое, враждебное, спугивало радость встречи.

Федор, потрясенный сообщением, встал из-за стола.

– Вот видишь, Клаша, я так и ждал... На Шаболихе же евреи. Надо идти! – повернувшись к жене и внимательно глядя на нее, как бы ожидая согласия, проговорил Федор.

Клаша побледнела и изменилась в лице. Ей ярко представилась картина погрома, рисовались те опасности, которым опять подвергнет себя Федор. Она была уверена: ее просьба к Федору, чтоб он остался, будет бесполезной. Федор все

равно не послушается, да и не надо, чтоб он слушался. Но, повинуюсь какой-то неодолимой смутной силе, все же сказала нерешительно, словно виновато:

– Может быть, Федя, побудешь сегодня дома...

– Как же я могу остаться, дорогая! – ласково ответил Федор.

– Ты хотя бы дообедал...

– Некогда!.. Сама знаешь, дорога каждая минута.

Федор стал одеваться.

Клаша завернула в газетную бумагу остатки еды и пирог.

Федор поспешно сунул сверток в карман куртки и вышел из горницы, поцеловав только Ньюшу, а остальным бросив короткое:

– Не прощаюсь! Увидимся.

Вскоре вышел следом за ним и Васяня.

III

Осведомившись у соседей, Федор направился в штаб; где непрерывно дежурили комитетчики.

Здесь он узнал подробности. На Шаболихе погром. Дворники, шпионы, охранники, полицейские и босяки; а за ними часть грузчиков и ломовых, недовольных остановкой железной дороги и отсутствием заработка, грабят еврейские магазины и квартиры. Бесчинствами руководит полиция, казаки участвуют в бандах, – войска бездействуют.

Большевики организовали дружины для борьбы с погромщиками. Город разделен на три участка, в каждом открыты в частных квартирах санитарные пункты для помощи раненым.

Федору предложили быть предводителем одной из вновь формируемых дружин. Выдали всем черные новенькие браунинги. К каждому – две семипульных обоймы и еще запас пуль для зарядки.

Федор хорошо обучился стрельбе, но до того у него был старый, неуклюжий, отобранный при аресте бульдог, с большим барабаном, неудобный для ношения и еще более неудобный тем, что косил влево, мимо цели, а иногда давал осечки... Приходилось брать прицел вправо.

– Вот это я понимаю, – настоящий подарок! – восхищался Федор, бережно проверяя все части полученного оружия.

– Это не наши старые сикущии, из которых даже вороны не испугаешь.

– Где такое золото достали?

– Реквизирован в оружейном магазине Онезорге.

– Замечательно!

Федору поручили командование отрядом.

Их было десять человек, когда они вышли из штаба – восемь рабочих и два интеллигента, – десять бойцов революции, из которых половина только что минувшим летом научилась обращаться с оружием и стрелять. Но эти десять все были полны самоотверженной преданности рабочему делу, веры в себя, в свою правоту, в победу, а главное, все горели непоколебимой, ни перед чем не останавливающейся отвагой. В этой железной непреклонности заключалась их сила.

Уже начинало смеркаться. Белесый туман заволакивал кругом, скрадывая очертания предметов. Зловещей настроенностью дышали улицы. В некоторых домах окна были закрыты ставнями с железными болтами, ворота и калитки наглухо заперты. Неуютно дул ветер, и отяжелевшая от влаги бузина царапалась в низкие заборы.

Уличные толпы поредели.

Дружинники прошли мимо казачьих казарм, где вот уже в течение нескольких лет квартировали донцы и уральцы, приглашенные городской думой на случай народных волнений. В грязном, давно не ремонтировавшемся кирпичном корпусе сейчас было, против обыкновения, пусто, не слышалось

залихватских песен, брани, молитв. Только караульные дежурили у закрытых ворот и у деревянной будки, расписанной желтыми и черными полосками.

Навстречу, с другой стороны улицы, с узлами в руках, возвращались, по-видимому с погромного пожараща, два казака в широких шароварах с красными лампасами. Оба пьяны, в грязных сапогах, перепачканных известью; на одном фуражка беспорядочно съехала набок, обнажая вихры нечесанных волос.

– Слуги царя и отечества – первые грабители страны, – негодуяще заметил дружинник Николай, рабочий маслобоек, высокий, сухой и болезненный парень с обрезанным ещё в детстве ухом, – следы сиротских беспризорных скитаний.

– Всадить бы гадам пулю в живот! Как ты думаешь, Федор?

– Товарищи! Прежде всего дисциплина! Никаких анархических выступлений! – строго ответил Федор.

Приближались к центру, к местам, где находились мелкие мастерские, магазины и базарная площадь. Здесь больше движения, людского шума. Маячили отдельные сходящиеся и расходящиеся фигуры, кучки в пять-шесть человек. Гул, отдельные выкрики. На крыльцо чайной Христорожественского, или, как его прозывали, Христопродавческого, братства высыпали подозрительные субъекты; у одного в руках тяжелая дубинка, вроде обломка слези.

– Забастовщики! – пролетели вдогонку дружинникам на-

сыщенные злобой слова.

Христорождественское братство, возглавляемое самим архиереем, за последние дни усилило черносотенную пропаганду, вербуя погромщиков.

– Змеиное гнездо! – сказал один из дружинников.

– Эх, разметать бы в прах этот притон!

Дружинники свернули за угол. Далеко впереди, захватив всю ширину улицы, чернел глухо рокочущий поток. Сперва он казался неподвижным. В далеком неясном шуме, среди сгущающихся сумерек, трудно было разглядеть что-нибудь. Но в возрастающей суете и тревоге прохожих чувствовалось наступление чего-то жуткого и бессмысленно-дикого. Дружинники замедлили шаги и выжидательно остановились.

Вот высоко взметнулись колыхающиеся на древках не то знамена, не то церковные хоругви. Ниже четырехугольное темное пятно. Среди общего гула нельзя было разобрать отдельных слов, и, верней, не столько слышался, сколько угадывался по долетающим издали обрывкам смысл того, что пели:

И благослови достояние твое, благочестивейшего государя нашего Николая...

Федор обдумывал положение. С одной стороны десять человек, с другой триста – четыреста, может быть, больше; но десять – организованная сила, а четыреста – сброд, орда, хо-

тя среди них тоже, наверное, есть вооруженные.

– Стойте, товарищи!.. – приказал Федор. – Помните данную в штабе инструкцию. Порядок и решительность! В дезорганизации смерть. Рассыпемся во всю ширину улицы цепью. Действовать молниеносно. Слушаться команды. Три залпа один за другим. Залпы сдвоенные. Сперва левая сторона – пять человек, потом немедленно же правая – тоже пять. Залпы вверх... Стрелять в живых людей строго воспрещается. Только в случае самообороны или крайней необходимости, по команде. Приготовься!

– Есть!..

Рычащая лавина людей уже находилась на расстоянии нескольких десятков сажен. Около четырехугольного пятна – портрета или иконы – обрисовались чуйки, пальто, длинные извозчичьи балахоны. Впереди всех рослый, на целую голову выше других, известный почти всему городу дворник городского головы Ерофеева, силач Панюха.

Внезапно Панюха с криком отделился от толпы к тротуарам, где стоял человек в шапке.

– Шапку долой! Шапку долой! – донесся многоголосый зык.

Видно было; как Панюха с разбегу ударил стоявшего прямым и резким ударом сверху вниз. Человек в шапке всплеснул руками, сразу же осел наземь, потом схватился за голову и застыл в таком положении. Передние ряды толпы одобрительно загоготали.

– Рас-сыпья це-пью! – скомандовал Федор.

Беглым шагом во всю ширину улицы дружинники рассыпались. Федор встал в середине.

– Раз... два... Пли!..

Сухим коротким треском хлестнуло по воздуху, словно кто разорвал ситец. И тотчас же справа раздался второй залп.

Мгновенно серая глыба людей как будто покачнулась и остановилась. Но не было времени сообразить, откуда опасность и как она велика; может быть, она таится кругом, подстерегает во всех щелях домов, во дворах...

Последовала вторая команда.

Брызнуло огнем слева, справа... И тогда звериный страх вихрем закружил толпу, разметал, рассыпал, как осколки, как кучу сора. Люди беспорядочно шарахнулись в разные стороны, толкались, падали, наскакивали один на другого. Рослый детина, с опухшим запойным лицом и воспаленными красными глазами, расчищал локтями путь, подшибая лысого задыхающегося человека, ктитора церкви, барахтавшегося в людской гуще. И каждый чувствовал, что он предоставлен сейчас только самому себе, что самое главное – это уйти от опасности, хотя бы ценой жизни любого из остальных. Падающих топтали, они ползли на четвереньках у заборов. Зазвенели щеколды, застучали калитки, в черные норы которых иные скрывались. Несколько человек пыталось перескочить через заборы.

Третий залп был не нужен, и когда он раздался, то пока-

зался еще более оглушительным, чем предыдущие потому что он прозвучал из неизвестности за спиной бежавших. И паника усилилась.

Улица сразу очистилась.

Только по обочинам, совсем близко к заборам и домам, где казалось меньше опасности, ускользали рассеявшиеся. И среди звериного разноголосья кто-то истошным пьяным голосом матюжился в бога и мать.

На месте шествия стало пусто.

– Товарищи, ко мне! – облегченно сказал Федор.

Дружинники сошлись вместе.

– Поздравляю с победой!

– Победа!

На месте шествия остались растерянные шапки, картузы, обрывки хоругвей, несколько еловых орясин.

В грязи валялся царский портрет. Это была обычная раскрашенная олеография, вставленная в золоченую багетную раму, дар Ерофеева, одного из главных организаторов шествия.

– Трофеей победы! – наступая каблуком сапога на царскую грудь, сказал один из дружинников. – Вечная память!

Несколько человек подошли к дружинникам. Среди них мастеровые, обыватели-мещане.

– Молодцы, товарищи! Здорово их растребушили!..

– Чего ж вы не помогали?.. – спросил приветственным тоном Николай.

– Помогли бы, да главная беда – нет оружия.

– Было бы желание встать за рабочее дело, а оружие добудем, – многозначительно сказал Федор.

– Ну, а вы, товарищи, не вместе ли с ними были? – обратился он к двум ломовикам в балахонах, пропитанных салом, дегтем, мучной пылью и всякой дрянью.

– Мы что? Мы просто любопытствующие, – уклончиво ответили ломовики. – Наше дело – сторона.

– Вы хозяева или рабочие?

– Работники...

– Как же вы говорите – сторона? Ваше дело быть вместе с рабочими! Небось не сладко живете?

– Хуже некуда!

Среди толпы Федор заметил Васяню, тихо пробирающегося к нему.

– Ты как здесь? – изумился он.

– А я за тобой следом. Как ты вышел, так и я, чтоб ты не заметил.

Федор покачал головой. Внутри он испытывал смешанное чувство: гордость за сына и недовольство его своеволием. Спокойно, по-товарищески он сказал:

– Вот что, Васяня! Ты еще не дорос до таких дел. Немедленно возвращайся домой и передай матери, чтоб она не беспокоилась за меня... Понял?

– Хорошо, – ответил Васяня. – Я скоро добегу...

Уже совсем смеркалось. Улица погрузилась в темноту, и

только вдали в туманной мути светился желтым бельмом одинокий фонарь против какого-то купеческого дома.

– Что же, товарищи! – обратился Федор с вопросом к дружине. – Двинемся на Шаболиху?

– До Шаболихи не дойти... – прогудел кто-то из толпы. – Туда войска не пропускают.

Все невольно обернулись в сторону Шаболихи. Багровое зарево кровавым разливом занималось на черном фоне неба.

Наступила жуткая ночь. В ее тьме мерещились раздробленные черепа, вывернутые руки и ноги, сверхчеловеческий вопль страданий и глухой звериный зык. И навстречу этой ночи двинулись вперед дружинники.

1909–1930